

Ирина ЛЬВОВА

г. Петрозаводск

1. PS

Тщеславное желание писать, но кто захочет читать, кто одолеет слово за словом чужую жизнь? И если бы она была прекрасна, удивительна или слова были прекрасны, удивительны. Они те же, что произносит служащая: «заполните заявление по образцу. Дата рождения, смерти. Ваша фамилия, претензий не имею, подпись». Вычеркнута из всех списков, стук печати по листу — так вколачивают гвозди в крышку гроба. Быстро, без единой паузы, чтобы не услышать стук чужого сердца. Вот и все.

Слова — кандалы, надетые на жизнь. Вот они позвякивают, значит, что-то происходит. Помогите. Ich sterbe. Amen. Это он. Не я. Не со мной. Я позвякиваю кандалами. Я живу.

За что? Вот когда слышишь молчание. На любой вопрос — молчание. Отсюда привычка говорить с собой. Я говорю с собой.

Безошибочная жизнь. Все ошибки — мои. Теперь без исправлений. Это тоже любовь.

Рабочий открывает дверь в подвал. Что у вас там? Да здесь нет света. Нам сказали открыть дверь, а дальше вы уж сами. Вот фонарик от мобильника. Спускайтесь. Светите фонариком. Покрытые известковой пылью доски, ржавые трубы, черные батареи — жуткие кости умершего мира. Фонарик мигает, едва высвечивает бетонные ступеньки. Поворот — налево. Еще налево. Что там? Ниже, дальше. Доски, трубы. Ниже. Это не я, не со мной. Сколько еще ступенек?

Кадиш — он может прорыдать слово за словом безумную жизнь Наоми, корчась от боли, но не испортив звучания. Каждый звук в унисон. Слава Богу. Но мне не найти молитвы. Мама. Где ты?

Ничего случайного. Вдруг — это признание слепоты, несовершенства чувств, бессилия рассудка.

СОН

И СНОВИДЕНИЕ

повесть

Исследование никогда: это небо? двадцать третий век? берега Аляски? Млечный Путь? Черные дыры? Никогда — пустота, окончательность невозвращения, не через день, год, не через тысячелетие — невообразимое убивающее никогда. Если бы оно имело цвет, и звук, и форму — что-то знакомое, к чему можно привыкнуть. Или трепетало, щетинилось — тогда его можно приручить. Нечеловеческое никогда, невозможное: присутствие отсутствия, игла, протянутая в вечность, пронзающая сердце, убивающая миг за мигом.

Кукушка терпеливо пророчествует бессмертие, но что бессмертие смертному? Травы встают, зацветает яблоня, все дышит бесконечностью, а твоя свеча догорает. Жизнь превратилась в угли. Тысячи счастливых мгновений стали пеплом. Ветер уносит обрывки листов — сотни слов, записанных на бумаге, таких, как эти.

Человеку полагается держаться. Держаться — удерживать свет, просто свет — не смысл, смысл рассыпается как пепел. Вот трава, вот бабочка, вот дом с сотнею окон, дорога с машинами, очередь в кассу, собака, книга — но ни в чем нет смысла. Только свет мерцающей жизни в каждом. Я удерживаю его как умею.

В невесомости, несвободном падении — ах, разве внизу не мягкая перина, летняя трава, облако? Сетка батута? — так, чтобы, коснувшись дна, сразу вверх? После зимы — лето, предвкушаемое воскрешение. Ведь правда же, понарошку это короткое падение, похожее на полет?

Начинает прорастать трава, свежая трава на пепелище. Новая трава — начало забвения. Сколько под нею миров, замолчавших навеки. Сколько погребенных стремлений. Зеленая трава — все, что осталось от надежды.

Мама, ты все дальше, меня уносит течением в новые воды. Черные ленты на венках выгорели на солнце, запах гари, въевшийся в кожу, слабее, и мои заклинания — глуше. Ты здесь — сидишь на диване с долгим вязанием, корзинка с нитками у ног, накидываешь петлю за петлей, день за днем защищаешь меня от смерти.

## 2. Портрет

Мама полна страхов и снов. Ее пугают раскаты грома, большие собаки, змеи, пьяные, водители-лихачи, электричество, скользкие дороги. Она боится случайности, которая убивает. То, что она не в силах одолеть. Сны предупреждают ее о возможных несчастьях, она знает о дурных предзнаменованиях, но хранит при себе. Поэтому я ничего не боюсь. Мама противостоит случайностям. Она управляет хаосом. И тем, что снаружи, и тем, что во мне.

Мама верит в совершенство мира, поэтому требует совершенства во всем. То, что она делает, — безупречно. На спицах она вывязывает запутанные узоры без единой ошибки — никто лучше не вяжет, чем моя мама. Петелька к петельке — каждый день нашей жизни, но я боюсь совершенства, борюсь с совершенством. Так мы боремся обе — мама исправляет кривые петли, которые я вывязываю с вдохновением, а я разрушаю ее ровные ряды. Мама указывает на мои многочисленные ошибки, а я настаиваю на них. Но мы вместе. Мама — лучший редактор моей жизни. Поэтому я могу позволить себе быть легкомысленной, не знать правил, не читать инструкций. Мама прочитала их все от корки до корки и ни разу не нарушила ни одной. Моим воспитанием она занималась по толстым книгам для родителей. Она верила в добросовестность людей, которые их написали, потому что сама, в отличие от меня, все делает добросовестно. Вряд ли она осталась довольна результатом, мои недостатки долго перечислять. Но мама все равно продолжала чтить инструкции, верить в предписания и правила.

Вера в совершенство мира передалась и мне. Я ничего не требую от него, потому что он и так хорош. Я бы не придумала лучше. Все здесь идет по правилам, не нарушая порядка вещей: солнце встает утром, ночью светит луна, зима наступает в свое время и в свое время уходит, в августе наливаются соком яблоки, а в мае вырастают травы. Мир столь же добросовестен и безупречен, как моя мама.

Мама не стареет. В ней столько детскости и любопытства, что я уверена: люди не меняются.

И если тело выводит свои вариации, то душа поет одну мелодию от начала и до конца.

Мама любит удивляться. Она с нетерпением ждет праздников: подарков, сладостей, сюрпризов. Поэтому я знаю, как приятно быть магом и волшебником. Когда-то в давние времена, когда я верила в Деда Мороза, мама выполняла его работу — ей самой нравилось удивлять. Но больше ей хотелось разделить свое удивление: цветку, вырвавшемуся из холодной весенней земли, шершавому огурцу, случайно найденному в густой зелени, внезапно выросшей тыкве. Жизнь полна приятных неожиданностей: кто бы мог подумать, что роза расцветет, наши не проиграют, цены не повысятся и мы доедем спокойно на своей машине до дачи.

*Мама в своей комнате, я не вижу ее, но чувствую ее присутствие. Кошка Лиза входит ко мне. «Мама, смотри, Лиза вернулась!» В моей комнате все, как пять лет назад: книжный шкаф посередине, старый стол, кресло, книжные полки. Наконец-то у меня на сердце легко: мама здесь, и Лиза здесь, а смерть была лишь сном. «Мама, позвони, скажи, чтобы за тебя не волновались. А то все думают, будто тебя больше нет». Мама держит трубку, но почему-то медлит. «Мама, — убеждаю я ее, — позвони, ведь ты вернулась».*

Мама из поколения тех, кто знал хорошо одну науку — выживания. А за ней — бесконечная линия рода, череда людей, передававших своим детям выносливость, силу, — все для того, чтобы не сдать, выстоять, подняться вновь. Я первый человек в роду, которому не нужно выживать. Кому не грозит смерть от голода и холода. Кто не знает нищеты. Первая в роду, проведшая полжизни за книгами.

Женщин моего рода больше всего трогали стихи Некрасова. Бабушкина любимая песня — «Что ты жадно глядишь на дорогу», мамина — грустное повествование о несжатой полосе. Меня не задели их беды и тревоги: сиротство, черный труд, бесконечная бедность. Я не полоскала белье в ледяной проруби, не ходила за кипятком на фабрику, не нянчила чужих младенцев, не шила ночами, чтобы заработать на кусок хлеба. У меня была своя комната, сво-

бодное время и другие заботы — сытого человека. Что я могу понять в их жизни, что сказать о них? «А вот я в твоём возрасте», — начинала мама, и ее слова звучали как упрек. Мне казалось, что ее опыт не пригодится мне. У меня нет маминой силы. Меньше стойкости. Очень мало терпения. И все же я отсюда — из рода претерпевавших, пробивавшихся к свету.

Портрет мамы: сначала часть меня, часть мира, который принимаешь целиком, без деталей, сомнений в том, что он совершенен. Тембр голоса, запах, улыбка, походка — все неразделимо и имеет имя: мама. Та, что любит и защищает, твоя навсегда, что бы ни случилось.

Безусловно, красива, лучше, чем красива, — мама. Она собирается на работу: волосы завиваются, губы красятся, в комнате запах лака, духов. Все густое, душное и необходимое, как плащ и шляпа, и туфли с каблуками, и тонкие чулки. Мама превращается в парадного человека для других. Я его не очень хорошо знаю, но люблю костюмы с металлическими пуговицами. Самые красивые — с изображением Георгия Победоносца, поражающего змея. Другие — маленькие и строгие, с бронзовым отливом. Я мечтаю, как однажды срежу их и они будут принадлежать мне.

Потом костюмы с великолепными пуговицами исчезают, появляются новые платья, юбки, плащи, туфли, а мама не меняется. Она стоит перед зеркалом, напряженно выискивает на лице морщинки, складки, но я их не замечаю. Я не вижу, что мама уходит от меня каждый день, ведь она неизменно рядом. Мама, дремлющая в кресле, погруженная в себя, живущая слишком медленно в суетливом мире, не старая, другая, которую я не всегда узнаю, не успеваю узнать, и все равно не изменившаяся — часть меня, неизменная часть.

### 3. Сон и сновидение

Она была отравлена книгами, заморожена книжной жизнью, как рыцарь Дон Кихот, перепутавший сны и реальность. Как Дон Кихот, она не сомневалась, что все написанное в книгах — правда. В детстве, как только она научилась читать, — то сразу заболела романной

горячкой. Именно романы, потолще, потяжелее, любила она, рассказы казались слишком легкими, несерьезными для такого захватывающего дела как чтение: не успеешь погрузиться в книгу, и пора просыпаться. Стихи были еще эфемернее: неизменная рифма напоминала, что они придуманы, сбиты старыми гвоздями искусства, а она верила в истории, рассказанные безыскусно, как рассказывает их человек, сидя зимой у печи, когда ночь темна, свет лучины неверен, а истории все ближе, и уже не понять, снится ли рассказанная жизнь или собственная привиделась тебе.

В доме книг не было, и она ходила в библиотеку. Библиотекарша, казавшаяся ей очень старой, ждала ее и доставала с полки старый тяжелый том (она любила, чтобы книга была потрепанной, зачитанной). Она ощущала знакомый запах старой бумаги, книжной пыли и едва могла дождаться момента, когда книга окажется в ее руках; она сразу открывала ее и шла в сторону дома. Она знала направление, точнее, ее тело помнило все повороты, препятствия на пути, и можно было не отвлекаться на рассматривание витрин, прохожих, а сразу же нырнуть в чужую историю, где сражались благородство и низость, добро и зло. Этот мир был молчалив, но полон движения, здесь было столько страсти, что страницы пылали в ее руках, жизнь обжигала, рвалась в неизведанное, тогда как в реальности она растекалась по часам и дням, бесформенная, никем не рассказанная. Она догадывалась, что жизнь — это история, что только слова, выстроенные в определенном порядке, создают ее.

Она шла домой, забывая о времени, забывая о себе; в такие минуты она натыкалась на прохожих, однажды даже налетела на деревянный столб, выросший неожиданно перед нею, но большей частью реальность не докучала ей, а обволакивала, не разрушая фантазий.

В ее семье только брат был книголюбом, но сейчас он в армии, а больше никто: ни дома, ни в классе — не был заморожен романами. Она чувствовала свою непохожесть — отличница, пожирательница книг; и незнакомая тоска по жизни, похожей на книжную, пробуждалась в ней, она мечтала выбраться из монотонности, бедности, окружавших ее, внезапно, как Золушка

из сказки, как упрямая Джейн Эйр, как благородный Монте-Кристо.

Вот она бежала на фабрику за кипятком, вот шила рукавицы на продажу, вот нянчила соседского ребенка, но знала, что все, что происходит — ненастоящее, а настоящее существует только в книге.

В книгах был порядок, начало и конец, всеведущий автор, дающий объяснения, одаряющий праведных, наказывающий порочных — недеянием, осуждением, расположением обстоятельств. Она любила таких писателей — Диккенса, Шарлотту Бронте, Гюго, Войнич, и современных, не таких увлекательных, но знающих правила. Были и другие: сочинители снов, как Гоголь, — притягательные и непонятные. Они дарили чувство ужаса и неуязвимости, как во сне, ей нравилось представлять себя свободно парящей над обстоятельствами.

Но вот еще — имя, старомодное, деревенское, из другого века, с которым ее ничто не связывало. У нее сохранились смутные воспоминания о тех временах, самое сильное: обед у дальних родственников. Большая семья в сборе за некрашеным деревянным столом, в центре — котел со щами. Старик хозяин сидит во главе стола с деревянной ложкой в жесткой жилистой руке. Вся власть в этой ложке: он первым достает горячее варево, неторопливо подносит ложку ко рту и так же ловко и рассудительно бьет ею по лбу потянувшегося к котлу сына. Она боится поднять глаза, ей страшно и почему-то стыдно. Наконец старик, наевшись, стучит ложкой по котлу, и все семейство набрасывается на еду.

Ее имя оттуда — из неподвижного крестьянского мира, подчиняющегося только тому, что сильнее его: солнцу, дождю, ветру. Этот мир не менялся веками, он в пролежнях, струпьях, страданиях, он погряз в несправедливости, она же другая, и только имя ее оттуда. Ее старшая сестра сменила свое старомодное имя на новое, звонкое: Ася. Ася — имя из книг, кружевное, тургеневское, с таким именем легко идти в будущее. Она же осталась Клавдией. Что уготовано Клавдии? Или она не Клавдия, потому что никогда не чувствовала себя Клавдией. Но кем? Ритой, Светланой, Тамарой? Или все-таки Клавдией?

И все же, когда она выглядывала за страницы

книг, жизнь не тревожила ее, напротив, детство было наполнено маленькими радостями: домовничанье со старшими детьми, разговоры с жильцами, которыми их маленький дом был набит, как огурец семенами, а еще — ожидание праздников, когда вымытые, в чистых платьях, начищенных парусиновых туфлях они с подругой выходили в город, зажав мелкие монеты в кулаке, чтобы купить в самый разгар дня холодный кругляш мороженого, закрытого вафлями, с именем наверху. Довоенное детство было простым, счастливым, без страхов, вдали от смерти. Тогда она не думала о смерти — ведь в книгах героини не умирали просто так, а по велению автора, значит, со смыслом, исполнив свое предназначение.

Поэтому начавшаяся война не казалась настоящей. И когда они бежали от немцев из города, она принимала это без страха, даже когда немецкий самолет появился в небе и стал стрелять в толпу. Что она знала о самолетах в небе над полем? Ничего. Она не почувствовала близости смерти. Только голод был настоящим, а потом и холод. Они жили в деревне у линии фронта, на ночь их выгоняли в землянки, вырытые в лесу, а днем они приходили в деревню, мать и сестра стирали и шили для солдат. Холод убил сестру — та заболела туберкулезом, но ей повезло, она выжила.

Когда они пешком возвращались домой, смерть напомнила о себе вновь: их обогнали сани, на которых вместе с незнакомыми людьми сидел ее одноклассник — Вовка Кукушкин. «Смотри-ка, Вовка», — сказала она с радостным удивлением матери, а через несколько мгновений раздался взрыв там, где только что были сани.

Война как ров в ее жизни, как окоп, который они рыли с одноклассниками, — отгородила детство от взрослой жизни. Книги были спрятаны под подушку как что-то тайное, запретное, нужно было привыкать обходиться без книг, жить только здесь, в пустом домишке, в голодное послевоенное время. После смерти сестры она заменила ее: шила ватники, рукавицы на продажу. Жизнь превратилась в один монотонный день, длинный, как бесконечная строчка, вылетающая из-под иглы зингеровской машинки. С тех пор она ненавидела шитье. В книгах

все было по-другому: люди много читали и говорили, вели тонкие беседы об искусстве, носили тонкое белье, имели тонкий вкус.

В действительности, которую она знала, от женщины требовался не ум, даже не воображение, а только терпение. Так была терпелива ее мать, выбивавшаяся из сил, чтобы одной прокормить четверых детей. Кроткая, терпеливая, робеющая перед всеми, оттого что рано осталась одна на белом свете, а нет ничего хуже в мире участи сироты. Мать стирала, мыла, убирала, шила, чтобы заработать на кусок хлеба, смиренно, не ропща, моля Николая-угодника о милости и спасении. Мать принимала свой удел как должное и ее учила смирению как умела, приучая к женскому труду, укrotившему не одну строптивую: к мытью, оттиранию, отскабливанию, отстирыванию, когда через мгновение появляются копоть, пыль, разводы, паутина, ржавчина, так, чтобы нельзя было поднять головы от ведра и таза, а зимой нужно носить баки с бельем к проруби, полоскать белье в ледяной воде, пока от холода не схватит сердце, а дома прясть, вязать сети, салфетки, подзоры. Такая жизнь напоминала сон, когда живет лишь тело, изо дня в день повторяя одни и те же движения, а ум бездействует, и душа дремлет в предчувствиях.

*Но вот еще — поездка в старую деревню в ноябре — ноябрь внезапно рифмуется с деревней, дорогой в выбоинах, трещинах, будто дорога из глубокого забытого прошлого. Кругом ни души, и как медленно сливаются серый день, поглощаемый туманом, и серый асфальт, и серые березы, ивы по обочинам, и серое небо, и серая вода озера, подходящая совсем близко к дороге. А сама дорога — мчащаяся в серую хмарь — бежит то по краю скал, то бросается вниз с обрыва, то виражами уходит в сторону, а кроме нее только глухой лес, пропадающий в тумане. Где здесь реальность? Не так ли сон разворачивается петляющей дорогой посреди незнакомой пейзажа? И в то же время есть какая-то необходимость находиться тут, какая-то неизбежность и неизведанность, как во сне. А то, что над озером повисают острова-призраки и у кромки берега черная поднимается вода со льдинами — так ведь и должно быть в чужих краях, и что бы ни*

*говорили — ноябрь, непогода, ненужная деревня, а есть другой смысл всему этому, всему есть другой смысл.*

Были женщины — толковательницы сновидений: бабка-соседка, жиличка-медсестра. Она узнала от них, что сырое мясо, доски, вода, цепляющиеся кошки снятся к болезни, но существовало еще столько примет, предвещавших опасности, что не было надежды их запомнить. Собственные сны были разрознены и непонятны, словно кто-то тасовал колоду событий и выбрасывал их в случайном порядке, так что следствия появлялись раньше причин, а конец предшествовал началу. И даже жизнь обывденная была неузнаваема во сне, причудлива и опасна. Сны усложняли реальность; похожие на жизнь и выдуманные, как книги, ими нельзя было управлять, а только плыть, стараясь не разбиться о препятствия. Жизнь сновидений была неправдоподобно ярка и в то же время размыта, неуловима; сны создавали мерцающую реальность, непрочную сеть, которая в любую секунду могла порваться, проступали наяву нечетким ощущением чего-то происходящего, но скрытого от глаз, а когда сны сбывались, то эта зыбкая реальность врывается в настоящее и разрушала ее.

Она верила снам, тайной жизни, проходившей рядом, затягивающей в свои опасные водороты.

А сама действительность была странной, опускающей и поднимающей одновременно: после войны, голода и близости смерти любая жизнь была счастьем, а теперь, казалось, медленно текла к свету, вверх, в том направлении, которое подсказывали книги. Она искала людей, которые знали бы смысл восхождения, она заранее боготворила их, готова была служить им, отдать себя этому знанию. Она искала веры, ибо наступало время веры.

Город был разорен, дом разграблен, и нужно было жить. Они ходили с матерью по соседям, искали свои вещи. Так вернулись кровать и самовар — то, что нельзя было спрятать, перешить, перекрасить. Они продолжали жить как все, цепляясь за любую возможность, чтобы выжить: брат научился валять валенки, она шила, вязала, мать продавала. Иногда она ходила к поездам (они жили в доме у железной дороги), и ей каза-

лось, что она едет медленно в неизвестность, может быть, в прекрасное будущее.

Солдаты возвращались с войны. Она привыкла к солдатам: когда они жили в деревне, на линии фронта, те приходили, чтобы постирать белье, иногда делились продуктами, иногда играли в домино. Некоторые из них были чуть старше ее одноклассников и шутили, как дети. Один позже прислал ей фотокарточку с фронта: серьезный мальчишка в новой фуражке и гимнастерке. Это было его единственное письмо. И сейчас солдаты ехали домой после победы, радостные, говорливые, и она смеялась их шуткам, и махала рукой на прощанье. Жизнь так ясно, так просто текла к счастью, как и описывали это книги. Лишь однажды солдат, куривший в одиночестве на перроне, нарушил эту ясность, сказав ей без улыбки: «Меня везут на восток, я был в плену».

После она вспоминала его, для которого победа не была освобождением. Особенно когда отвечала на вопрос анкеты: «Находились ли вы на оккупированной территории?», она с облегчением, с радостью писала «Нет» как об одной из немногих жизненных удач. Нужно было жить правильно, чтобы не попасть в коварные сети анкет. Но ее всегда влекли люди, которые знали другое, опасное (она догадывалась, что знание может быть опасно, но для чего еще были написаны тысячи книг, как не для умножения знания?). Эти люди жили очень далеко, в светлых больших домах в Москве, среди книг, картин, изысканных предметов искусства.

Она хотела учиться, а в шестом классе ушла из школы и целый год пробыла в няньках в деревне у дальних родственников. Уйти — значило показать характер, упрямый, непреклонный, или подружному — начать обрастать защитной кожей, не чувствующей ударов. Характер — странная вещь. В книгах писали, что его делает человек, а на самом деле он вырастает сам из того тайного человека, который живет внутри и действует, прежде чем успеваешь осознать происходящее.

Тем летом она переболела лишаем и пришла в школу в косынке. На школьной линейке завуч сказала властно (тогда люди разговаривали властно): «Сними немедленно». Она была отличницей, примером исполнительности и послушания, от нее не ждали непокорности, но ее

внутренний человек знал прежде нее, что не подчинится. Завуч, наверное, считала, что авторитет власти зиждется на непреклонности, поэтому повторила: «Сними косынку сейчас же или больше в школу не приходи».

Она не знала полутонов, не знала, как прощать, поэтому ушла из школы. Она любила школу: уроки, перемены, пионерские субботники и спектакли в школьном театре, она любила книги, пятерки и притворно строгий голос учителя, когда после десятка неверных ответов он обращался к ней устало: «Клава, скажи», и она кивала понимающе и отвечала на вопрос.

Вот еще чем хороша была школа: здесь уважали тех, кто читал и знал правильный ответ, а ей хотелось учиться и знать ответы на все вопросы.

Она не думала об ответной любви, она могла любить безответной, жертвенной любовью, но ее самоотверженное служение предмету любви требовало лишь одного — его чистоты и нравственной безупречности; нечистоплотности она не могла простить, и тогда пряталась, уходила от тех, кого любила, переставала любить.

Так она перестала любить школу, и мать пошла к завучу просить за дочь. Мать всегда робела перед начальством; сама недавно выучившаяся грамоте, мать совсем потерялась при разговоре с важной учительницей, по-деревенски кланялась, извинялась и благодарила.

*Ей всегда снился один и тот же сон: она идет по деревянному мосту, а он разрушается у нее на глазах. Теперь она не может вернуться обратно, и пути вперед тоже нет. Она в испуге просыпается, чуть-чуть приподнимается над сном, чтобы начать другое повествование, но опять оказывается у моста. Теперь она видит воду, сначала спокойную, но глубокую, но постепенно закручивающуюся в водоворотах, смертельно опасную; мост разваливается, только доски торчат из остова, удерживают ее на мосту. Она возвращается назад, потому что впереди — темный парк, еще более страшный, чем вода, и она не знает, зачем она шла туда. Где-то рядом голоса — значит, она не одна и кто-то уже перребрался на берег. «Мама, — зовет она, — мама».*

Она не обрадовалась, когда мать сказала, что ей разрешили вернуться в школу. Быть второ-

годницей — такого унижения она бы не вынесла и, за лето выучив программу шестого класса, выдержала испытательный экзамен. Но любовь к школе не вернулась, и мать, жалая ее, уговорила поступать в медшколу, как старшая сестра Ася. Ася была далеко, на Дальнем Востоке, замужем за офицером из отдела снабжения, уже не нищая студентка, а важная дама. Но Асино счастье казалось каким-то ненастоящим, потому что та была далеко, писала редко вежливые письма, из которых нельзя было понять, какая у нее жизнь. Мать беспокоилась, ждала весточки, тайно надеялась, что та вспомнит о семье, поможет хоть чем-нибудь в голодные времена.

Счастье было на серых страницах книг в старых переплетах, в историях чужих людей, ставших ближе, чем соседи, чем родственники; не рассказанная, жизнь рассыпалась на фрагменты, на мгновения, которые невозможно было запомнить и сохранить, и некому было привнести логику и смысл в каждое из мгновений.

Но как соединить серую холодную доску стола с запахом картошки, и саму картошку, раздавленную на столе, посыпанную крупной солью, — с тем, что обещали книги, а значит, обещала жизнь. Как соединить ночь настоящую с белым острым серпом луны, пахнущую тоской и будущим, с воображаемой ночью, с запахами растений, о которых можно узнать в словарях, но никогда не представить аромата ночи, где бродят герои книг. Как встретить их в этой ночи, когда она живет в другой, и что сказать им при встрече: «Мне шестнадцать, я мечтаю о такой яркой жизни, как у вас, и о такой же огромной любви. И о таком же счастье».

Книга — тот же сон, когда еще не спишь, но уже не бодрствуешь, существование на грани, но может быть наоборот, только тогда и пробуждаешься, а в остальное время качаешься в колыбели бесконечных ритмов: утро-вечер, лето-зима, сон-не сон.

Медшкола — сон о взрослой жизни, где смешалось все: голод, надежда, девичьи разговоры о счастье. Его показывали в фильмах: честная девушка из простой семьи становилась принцессой, всеми любимой, уважаемой. Это была сказка про Золушку, и кто объяснит, почему сказку про Золушку хочется перечитывать сотни раз и почему ее рассказывают книги век за веком?

Или так рассказывает историю судьба, у которой в распоряжении не так-то много сюжетов. Вот и она напишет свою сказку о Золушке. Кто-нибудь ее прочитает: мать, или подружки, или когда-нибудь — дети, перескажут историю своей матери, которая шила телогрейки все дни напролет и жила впроголодь, а потом стала профессором. Ах, у нее появились золотые туфельки, и тонкие чулки, и легкая шубка, и ела она из нежного фарфора, как барыня, и слуги запрягали лошадей в золоченую карету, и усатый шофер открывал дверь автомобиля, и она уезжала в Москву, а может, дальше — Ниццу или Париж. И принц был рядом: умный, добрый, умелый, как и положено принцам.

Ее новая подружка, Тамара Лермонтова, не читала сказок. Она не тратила время на чужие сны, не проводила бессонные ночи в беспокойстве о графе Монте-Кристо, не ныряла в переулки Парижа вслед за Жаном Вальжаном, не дышала сырым воздухом Лондона, как диккенсовские нищие, ей не снились никогда холмы Италии. Тамара предпочитала книжным приключениям собственные. Она точно знала, что станет врачом, и ничего не боялась. Почему они стали подругами — загадка: это только книги все объясняли, а жизнь проходила без объяснений, просто Тамара подошла к ней однажды и сказала прямо: «Давай дружить». Дружить по Тамариному — значит следовать за нею и слушать ее истории, когда Тамаре не терпелось поделиться своими секретами.

Она умела слушать, ведь этим она занималась всю жизнь — слушала чужие голоса из книг. Следовать за Тамарой было неудобно, та была слишком жадной: ей хотелось взять у жизни побольше, казалось, ничто ее не может насытить, и шла Тамара вперед шумно и напролом.

Это за спиной Тамариного двоюродного брата она впервые промчалась на мотоцикле по шоссе до самого Торжка, ей было страшно от этой гонки, но она никому не посмела признаться. Так же страшно было у постели умирающей бабушки, когда с Тамарой они делали свой первый самостоятельный укол. «Давай!» — шептала Тамара, и она, по привычке подчиняться, готовила шприц. «Не надо, бабуля уже умерла», — шипела та через мгновение, и она отшатывалась от неподвижного те-

ла. Наконец дрожащими руками она сделала укол, не зная, живой или мертвой женщине, и тут же, не стовариваясь, они выскочили из палаты. «И чего ты испугалась, — сказала Тамара, когда они оказались в тихом и безопасном коридоре, — так сплошь и рядом бывает, не знаешь, жив человек или уже нет».

Тамара была совсем взрослой, хотя всего на два года старше ее: Тамара уже красила губы и смеялась как взрослая женщина. Она тоже научилась красить губы, держаться прямо, подбирать живот, кокетливо повязывать косынку, носить старое платье-клевш так, точно оно самого модного фасона, она тоже хотела стать врачом когда-нибудь. Но как-то все сдвинулось, накрепилось в другую сторону, жизнь оказалась плоской, непонятной, без сюжета, без героя: после окончания ее не направили в деревню фельдшером, а, как отличницу, оставили в городе на должности санинспектора. Она ходила по столовым и ресторанам с ощущением окружающей нечистоты. Здесь в грязных подсобках, на кухнях, в темных углах скрывалась нечистота: стгнившие овощи, просроченные продукты, помои, объедки, наспех заметенный мусор; ее начинало подташнивать, когда она только приближалась к кухне, она предчувствовала грязь, слегка задрапированную салфетками, улыбками, и взгляды людей у немытых столов, нечистые, как их халаты. Это был сон о нечистоте, куда она медленно погружалась. «Что это у вас там в супе, черви?» — спросила она с ужасом у маленького сального человечка — завстоловой. «Какие черви? Это лапша», — сказал он невозмутимым голосом, но с той же грязнотой, и бросил пригоршню серой лапши в кастрюлю с супом. «Что вы делаете?» — изумилась она, но тот даже не взглянул на нее. Как всегда, ей даже не пытались врать или угождать; тихий голос, в котором звучало сомнение, но не было воли, выдавал ее. Обычно после инспекции ей предлагали выпить; сначала она отказывалась, но в ее отказе тоже было сомнение, и поэтому ее визиты заканчивались рюмкой водки, полупьяным бортом соседней по столу. Иногда она просыпалась: неужели это и есть ее жизнь до самой смерти, и книги нашептывали ей неосуществимые желания, воображаемую жизнь.



*Вот какой сон приснился ей или она его прочитала: герой — убийца, он же жертва, он же сыщик, он же автор. Она не может понять, чья жизнь ей снится. Она знает, что совершила преступление, но какое — не помнит, и ей страшно. Ей приходится притворяться, что она такая же, как все, но понимает, что ее страшная суть будет обнаружена, это только вопрос времени. Она видит ночной пейзаж: болота, бурелом, черная вода в колее, свежескопанная земля, неопровержимые улики ее преступления, столь очевидные, что их нельзя не заметить. Но она же — сыщик, идущий по следу убийцы. Она чувствует свою беспомощность: кругом туманные долины, какие-то люди, оплетающие ее бессмысленными разговорами, незнакомые улицы, конторы, похожие на вход в преисподнюю: стучат пишущие машинки, кто-то разжигает угли то ли для утюга, то ли для самовара, в комнате дым и пахнет дегтем. Но она ищет нить в этих бессвязных обстоятельствах, не может быть, чтобы ни в чем не было смысла. Или она — та, за которой гонятся убийцы, солдаты в немецких мундирах, она бежит в дом, прячется под кровать — может, ее не заметят, но шаги все ближе, как легко они выбили дверь! Да это сон, кто-то сочинил всю историю, она читает ее, она припоминает. О, если бы ей сказали, что существует что-то еще, кроме этого сна, какие-то страны, которые называют настоящей жизнью, оттого что там все очевидно, радостно-просто: вот дом, и к дому ведет дорога — дорога к любви (что это такое?), дорога к счастью (но что это?).*

Летом она случайно встретила с Тамарой. Они не виделись год, но ей показалось, что прошла вечность с тех пор, как кончилось детство. Та была как всегда весела, шумна, глаза ее сияли.

— Как ты? — закричала она и, не дожидаясь ответа, похвасталась: — А я поступаю в мединститут. Подала документы.

Тамара — в институт? Это было невероятно. Тамара, у которой не было времени открыть учебник, делавшая все наспех, на авось? Тамара, просившая ее пересказать лекцию и после объяснений запоминавшая с трудом половину, тогда как она схватывала на лету?

— Я тоже хочу поступать, но не знаю куда, — сказала она, бледнея от зависти.

— Так завтра последний день принимают документы, смотри, опоздаешь.

Она выбрала исторический. Историю она не любила, но ее просто было выучить: сфотографировать страницы учебника и после идти на экзамен уверенно, зная, что память не подведет, выбросит нужный абзац, и ей останется только прочитать написанное.

— Зачем тебе институт? — несмело спросила мать. — У тебя уже и так самое высшее образование. Иди в медсестры, вот Ася с мужем хорошо живут.

Бедная мама, она всегда всего боялась, не было бы хуже, и сейчас робко возражала, опасаясь неизвестного.

— Проживем, мама, у меня будет сталинская стипендия, вот увидишь, а вечером я могу шить.

После женитьбы брата они остались вдвоём с матерью, по-прежнему день за днем пытаясь выкарабкаться из нищеты.

На экзаменах она получила все пятерки. Больше всего боялась английского, но ей удалось перевести текст про тургеневского «Муму» без ошибки, а в конце экзаменатор спросил ее: «Can you swim?» Она не поняла вопроса, но на всякий случай сказала: «ес», и экзаменатор, улыбнувшись, вывел в ведомости пять.

Она стала студенткой. Она не могла поверить в стремительный поворот своей судьбы: будто она шла много дней по степи, и вот впереди показались горы, пейзаж внезапно переменялся, пахнуло свежестью и счастьем.

Она была старше своих сокурсниц, прыгнувших в институт со школьной скамьи, не видевших взрослых снов, не подозревавших о нечистоте, скрывающейся повсюду. У ее сверстниц были припухлые губы, не знавшие помады, умы, не растревоженные тоской о другой жизни. Она старалась держаться как они, беззаботно и весело, оставаться в кругу простых девичьих забот, но в назначенный час, как Золушка, она бежала домой, садилась за швейную машинку и строчка за строчкой убивала вечер. Ее новые подруги думали, что она зубрит вечерами, и она их не разубеждала.

*А вот еще какой ей приснился сон — тетя Фуша, соседка, стучится в дверь и говорит: «Выходи, а то жизнь проспичь. Девки гармониста привели, сегодня у нас гулянка».*

*Настоящая тетя Фуша — огонь и беспорядок, только она могла ворваться в сны с такой бесцеремонностью. Ей все нипочем. Вот тетя Фуша пригнулась к земле, вот распласталась, чтобы стать незаметнее, и ползет, крадучись, как кошка, к забору, чтобы расслышать глухую перекрестную соседней. Тело тети Фуши большое и грузное, неудобное для такой охоты, но тетя Фуша относится к происходящему со всей серьезностью. Через полчаса она будет сидеть на завалинке с довольным, как у сытого кота, лицом и пересказывать подслушанные секреты. А потом взмахнет рукой и зачитает глумливыми куплетами, запоет громко и весело. Муж тети Фуши — сапожник, золотые руки, так что Фуше не пришлось работать за кусок хлеба, а было время и петь, и смеяться. Ее муж — человек молчаливый, жилистый, упрямый. Но она и его сумела обломать, обточить свой язычок. Тот ей не перечил, а запил. «Повешусь, — сказал он однажды, — от такой жизни». «Да вешайся, — засмеялась тетя Фуша, — вольному воля». «Повесился бы, да веревки в доме нет», — ответил муж. «Да вешайся, сейчас принесу», — ответила тетя Фуша, она не любила, чтобы с нею спорили. «На вот», — бросила она веревку мужу и вышла. А тот взял да повесился. Многие рассказывают о тете Фуше, пытаются разгадать, откуда в ней столько бездумной удалости. По-разному живут люди, можно жить и так. Но отчего вдруг тетя Фуша явилась во сне, разлила глупое свое веселье?*

Она была лучшей на курсе, ей легко было быть лучшей, лекции запоминались без усилия, память как сеть ловила все, нужное и ненужное, но ум ее бездействовал. Она опять начала было тосковать, потому что жизнь, описанная в книгах, так и не наступала, и нечистота, от которой она бежала, напоминала о себе, являясь то в снах, то в глухих предчувствиях. Но в новом семестре наконец все случилось так, как говорилось в книгах (а книги пишет судьба), она нашла, что смутно желала, искала, не зная, что именно она ищет. К ним на курс пришел моло-

дой преподаватель Аарон Иосифович, Арон, совсем недавно окончивший Московский университет. Он не был похож на людей, которых она знала, будто он вышел из старого романа, где полюсы добра и зла были неизменны, так же как неизменен человек в поисках правды. Арон был умен, начитан, как и полагается герою, и в то же время прост, искренен, словно ничего не было необычного в его уме и знаниях. На выходные Арон уезжал домой в Москву, и она представляла, как он идет в один из домов с большими окнами, открывает дверь в просторную комнату со стеллажами книг до потолка, садится в старое кресло, углубляется в чтение. Он читает те книги, которые ей недоступны, и читает так, как она не умеет, выхватывая мысль и эмоцию среди множества описаний и рассуждений. Может быть, он спит в эту минуту, но ум его бодр, энергичен, как это бывает во сне. Мысль — тоже приходит из сна, такая же непостижимая, как сновидение. Из каких электрических импульсов рождается мысль, как движения нейронов превращают студенистую ткань в любовь? Подобно ли тому, как жизнь порождает сновидения, а сновидения — жизнь?

Арон сразу выделил ее из других студентов, она схватывала все на лету и жадно требовала нового знания, новой пищи для ума. Незаметно они подружились, и ей казалось, что она нашла наконец точку равновесия между книгой и реальностью. Чужая смелая мысль будоражила ее воображение, она почувствовала ни с чем не сравнимое удовольствие от интеллектуальной беседы, от простого наблюдения за парадоксальной игрой ума. До сих пор она не смела думать о том, что нарушало границы обычных представлений. Трудно было предположить, что существуют области, которые невозможно описать словом, что есть пропасти между словом и явлением и они непредставимы, непреодолимы. Они с Ароном говорили о прошлом, о силе, движущей людей и целые народы, о законах человеческого бытия, о будущем. Ему казалось странным, что будущее неизвестно, оттого что никем не прожито, хотя было бы возможно допустить, что кто-то до нас, а может быть, и мы, уже жили в будущем, и для нас оно — только припоминание, оттого пророчества обращены в прошлое. Она смея-

лась, но была горда, что Арон выделил ее из всех студентов и настойчиво советовал заняться наукой. Сам он писал диссертацию и не сомневался в своей академической карьере.

Она не смела сказать, что для нее историческая наука — случайный выбор (а что в жизни не предопределено, или всякий выбор не случаен?), но ей хотелось стать такой, как он, жить среди тонких вибраций, умных разговоров, говорить на равных.

И она постепенно примирилась с необходимостью изучать давно ушедшую жизнь человечества, обратившегося во прах, существующего только в умах, в невидимой вселенной.

А еще она почувствовала сладкий аромат еврейства, то незнакомое обаяние, заключавшееся в женственной тяге к высшему знанию, беспокойстве об истине, грустной насмешливости, которую невозможно было повторить, и поэтому она казалась особенно притягательной. Она не думала, что Арон — еврей, она бы удивилась, если бы кто-нибудь сказал ей об этом, но с тех пор она ждала людей, похожих на него, она любила их заранее, признавая их ум, а значит, превосходство над другими.

Она была из тех, которые влюбляются в мужской ум. Особый голод по играм интеллекта заставлял ее искать собеседника, и, если он был умен, парадоксален, ей легко было отдать ему свое сердце.

Но жизнь вокруг была далека от умозрительных приключений. Убогий быт, привычная нищета не пугали ее, ибо она не знала другого, но верила, что все неизбежно переменится к лучшему каким-то чудесным способом, как об этом писалось в книгах, сама жизнь подразумевала ожидание близкого счастья.

В марте объявили, что умер Сталин, и внезапно привычное течение жизни остановилось, потому что теперь нельзя было точно сказать, чего ждать. Она принимала существование Сталина как нечто навсегда данное, так же как Москва была столицей, а вся история — борьбой за лучшее будущее человечества, и теперь чувствовала себя потерянной, как если бы ей сказали, что ныне столица — Лондон или Берлин и что история — это история хаоса и бессмысленности. Не раздумывая она бросилась в

Москву, чтобы разделить с другими людьми свое смятение. Она не заметила, как попала в человеческий поток: люди шли и шли, это было похоже на сновидение: серый поток на серых улицах, так, наверное, по-другому называют горе, — и вдруг толпа начала сжиматься, все жестче впечатывая тело каждого, так что невозможно было сдвинуться, пошевелиться. Страх охватил ее: толпа двигалась медленно, неотвратимо, как лавина, затаптывая замешкавшихся. Она закричала, и кто-то с силой вытолкнул ее к самому краю; она отползла в сторону, как затравленный зверь, вырвавшийся из смертельной ловушки, еще не веря в спасение.

Внезапно какое-то странное чувство охватило ее, предвкушение близкого счастья, свободы, и она удивилась этому чувству, потому что оно не совпадало с тем, что называется настоящим: холодный промозглый день, переполненный вагон, мать, робко спрашивающая, как там, в Москве, ужин из серых макарон, урок шитья и после серое мартовское утро с той же рутинной; но настоящее почему-то было не важно, мимолетно, потому что приближалась радость «будущей всеобщей любви», как она сказала внезапно вслух, оттого что слова внезапно всплыли и потребовали быть произнесенными.

*Вот какой ей приснился сон: строится дом, стучат молотки, незнакомые рабочие вставляют двери и окна. Она моет стекло, неправдоподобно прозрачное, так что, кажется, нет необходимости в ее работе, но она трет по блестящей поверхности мягкой белой тряпкой, и сердце ее колотится от радости. Как ей нравится этот день, эта веселая работа, и прозрачное стекло, то отгораживающее ее от мира, то его приближающее; и то, что она стоит на втором этаже и смотрит сверху на людей, на зеленые деревья у дома. Кто, как ей сказал тогда, что жизнь бесконечна? Она проснулась с ощущением легкости — кто сказал ей, что жизнь легка, или она всегда чувствовала это?*

Жизнь двигалась по спирали, она не знала, что судьба состоит из повторов, тогда как роман избегает повторов, и дело не в том, что судьба менее изобретательна, чем автор. Просто она не нуждается в необычных пово-

ротах сюжета, чтобы поддержать интерес аудитории: судьбу заботит не зритель, а только герой.

Ее опять, как отличницу, оставили по окончании института в городе, и она вновь получила работу странную, скроенную не по ее судьбе — ее направили в горком комсомола, в отдел по идеологии, и так как она понимала идеологию как самоотверженное служение высшей идее блага других людей, а в отделе боролись за формальную чистоту рядов: с пьяницами, прелюбодейями, тунейдцами, — то она, чтобы освободиться от внутреннего хаоса (а хаоса она не переносила больше всего), попросилась учителем в сельскую школу. В деревне все еще был девятнадцатый век, в школу ходили за семь километров пешком; готовили, спали на печи, жгли лучину. И люди здесь были крепкие, умелые, приспособившиеся к выживанию, как хозяйка Анна Ивановна, у которой она снимала комнату, женщина властная, практичная, сумевшая вытолкнуть своих детей в город за лучшей жизнью.

Библиотека, разговоры с Ароном, казалось, приснились ей, так крепко, незбылемо было настоящее.

— Вы любите смородину? — спросил ее директор школы, маленький сутулый человек с пропыленным лицом.

— Нет, — она посмотрела на него удивленно.

— Очень хорошо, тогда завтра вы с детьми будете собирать смородину, посмотрите, чтобы никто не ел.

Внезапно деревенская жизнь стала настоящим, — будто ничего другого и не было — столь вещественным, неоспоримым, что можно было вбить в него гвоздь, как в стенку, оно откликнулось бы на долю мгновения незаметной вибрацией и стало вновь твердо перед ней. В деревне она преподавала вместе с историей литературу, физкультуру, химию. Мальчишки разбирались в химии лучше ее, но великодушно носили за нею таблицы, а на физкультуре терпеливо ждали, когда она появится, запыхавшись, из-за поворота, и бежали вперед до следующей горки. Они признавали за ней силу книжного знания, которое, наверное, было важно в городе, но здесь большей частью оказывалось бесполезным. Но они любили слушать, когда она рассказывала им про отважно-

го Айвенго, или про всадника без головы, или про Гавроша из темных парижских трущоб. У них загорались глаза, и мечтательно они смотрели вокруг, не замечая школьных стен: настоящее таинственно раскрывалось перед ними как волшебный ларец из старой сказки.

Но и в непреклонном настоящем было свое волшебство: сосновый лес, начинавшийся за деревней, по краю которого в теплых овражках росли белые грибы, — она любила собирать их, возвращаясь из школы. Крепкие, веселые, живописно расположившиеся под пушистой елочкой или замысловато закрученной корягой, боровики были так хороши, что она, вспоминая их, иногда сомневалась, не приснились ли они ей: так безупречно было мгновение: мягкий солнечный свет, насыщенность красок, драгоценные грибы, спрятавшиеся в траве.

Все три года после института вместились в это мгновение, и когда летом она опять встретила Тамару, то несказанно удивилась, как бывает с пробудившимся внезапно человеком: оказывается, все это время жизнь двигалась, бурлила, менялась. Тамара вновь встретила ее с огромными новостями: та побывала замужем, а теперь ехала в Ленинград учиться на рентгенолога.

Аспирантура в Ленинграде! Почему ей ни разу не пришла в голову эта мысль, почему она уснула в неподвижном деревенском мире? Как она смогла забыть об Ароне, о своем детском предощущении судьбы: будущей жизни среди книг, утонченных снов и сновидений, вместе с людьми, легко и привычно существовавшими в мире красоты и искусства.

Она поступила удивительно легко, победила претендовавшую на место кандидатку; она умела покорять экзаменаторов безупречной логикой, силой, самоуверенностью. «Председатель Временного правительства — не ваш родственник?» — спросил экзаменатор. Она взглянула на него со страхом: у них в институте так опасно не шутили. Здесь все было другое: культивируемое фрондерство, стиль жизни, как во французских фильмах: с бесконечными сигаретами, кофе с коньяком в кафешках, где встречались свои, посвященные; долгие разговоры в курилках, залах Публички. Среди аспирантов было много иностранцев, принесших незнакомые привычки чужого мира. Всегда она стремилась к такой

жизни, ключам, мыслившим опасно, пробуя на крепость стены дозволенного. Внешне она занималась малозанимательной работой: изучением истории профдвижения на Кировском заводе, но вся ее новая жизнь была первой попыткой полета, она училась летать. Впервые она почувствовала свою провинциальность. Особенно один из новых знакомых — аспирант с философского факультета Влад — язвил над ней постоянно, хотя все вокруг острили и ерничали, подсмеивались друг над другом, и она еле успевала отбиваться от чужих шуточек. И все-таки ее ум был сильнее, проще, приспособленный для выживания, уравновешивающий противоречия, перемалывающий хаос в систему — это скоро признали все остряки, заблудившиеся в своих шутках. Она всегда видела выход, находила его безошибочно в самых глухих дебрях, в любом споре была права. Они были мальчишками перед нею.

*Ей приснился сон, что она потеряла тело и смотрит на жизнь откуда-то сверху, волнуется, мучается, но не может ничего сделать. Не может взять в руку стакан, чтобы напоить ребенка, не может перевернуть страницу, даже толкнуть ногой закатившийся мяч не в силах. Все, что осталось у нее — сознание, бессильное, бесполезное, страдающее. Люди проходят мимо, не замечая ее. А рядом такие же, как она, потерянные души, каждая — в своей клетке. Она просыпается в ужасе — сердце бешено бьется, значит, с ней ее тело, она и есть тело, сильное, выносливое, она — русые волосы, вздернутый нос, пухлые губы. Но почему она думала, что проснулась, ведь сон ей по-прежнему снится?*

Мать писала ей почтительные письма с поклонами, почти не рассказывая о житье-бытье. И так все было ясно. Каждый раз перечитывая их, она вспоминала, из какой западни вырвалась. Приехала старшая сестра с тремя детьми и мужем-пьяницей, а за ней вернулся брат с молодой женой и первенцем, и все поселились в их домишке, в двух комнатах. Они с матерью тогда ютились на кухне, остальные набились в комнатенки, дети кричали и плакали, женщины ссорились, пьяный шурин устраивал дебоши, все чувствовали себя несправедливо обма-

нутыми обстоятельствами, злились друг на друга, выплескивая раздражение на того, кто подвернется под руку. Невестка, дородная глуповатая жена брата, сидела целый день дома, перебивала косточки соседям и родственникам и осуждала ее за то, что она все еще учится. Сама невестка, перебравшись к ним в дом, выбросила все книги брата, чтобы тот всегда был при семье и при деле.

Мать хотела всех примирить, уговорить, но голос ее был слишком тих, и она не смела никому перечить.

— Мама, нельзя же так, — говорила она в сердцах, — зачем было звать всех сюда, в такую тесноту, ведь жили они отдельно и пусть бы жили.

Мать жалела всех и молчала, слушая грубые перебранки.

— Мама, нельзя быть такой ...рабой, нужно защищать себя, — убеждала она мать. Они долго жили вдвоем, поддерживая друг друга. Никто так преданно не любил ее, как мать.

А она все реже навещала ее и сейчас заставила себя приехать только летом. Мать приболела, ее увезли в больницу с болью в животе.

— Не оставляй меня здесь, возьми домой, — мать боялась больницы.

— Что ты придумала, как я тебя оставлю, — она утешала мать, как ребенка. В ней было столько сил и надежд, что она не могла подумать о плохом. Не из легкомыслия, а из странной уверенности, что все должно быть и будет хорошо.

— Больше всего я хотела бы ребеночка твоего нянчить, — сказала мать грустно перед ее отъездом.

Они сидели в своем углу, в домике у железной дороги, где время было подчинено расписанию поездов, и голос диспетчера и днем и ночью напоминал, что есть другая жизнь, в постоянном движении, и гудки поездов звали в эту неизведанную жизнь, манили неизведанным счастьем.

Через месяц мать стала жаловаться на боль в спине, ей прописали лечебную гимнастику, но ей становилось хуже. Когда она приехала к матери в августе, та уже не могла подняться, врачи сказали: рак, последняя стадия, прописали обезболивающее. Они договорились с сестрой делать уколы по очереди, но сестра была занята тремя детьми, по-прежнему пившим мужем, и она осталась одна у постели матери. Она думала: какое

счастье жить без боли, и она не ценила его; еще недавно она считала, что боль — несправедлива, но временна, на самом деле временна жизнь без боли. И сейчас она чувствовала боль, предчувствуя ужас потери, отодвигая ужас настоящего, и знала, что боль останется с ней навсегда.

— Иди поспи хоть немного, я посижу с мамой, — сказала ей сестра.

Она ушла в свой угол на кухне, провалилась в сон без сновидений, похожий на смерть. Она спала долго, впервые ни разу не проснувшись посреди ночи.

Сестра разбудила ее.

— Мама умерла.

Она запомнила навсегда какой-то неверный промельк на лице сестры, предательский — в долю мгновения — взгляд. Лежавший у постели матери шприц показался ей орудием убийства.

Позже она старалась убедить себя, что ей почудилось внезапно изменившееся лицо сестры, но с тех пор они избегали встреч друг с другом. Она уехала из родного города навсегда. Больше никто не ждал ее здесь.

*Наконец она оказалась у моря. Настоящее море — шумящее, синее, с длинной полосой прибоя, со слепящим солнечным диском в небе, окутанное разнообразными звуками человеческой речи. Здесь же — зонтики и кабинки для переодевания, запахи перезревших фруктов, нагретого камня и песка. До всего можно дотронуться, вдохнуть вкусный морской воздух.*

*Когда-то из книг она узнала, что все лучшее с человеком случается на берегу моря, наверное, оно — синоним счастья, полноты жизни. Море было прекрасно и потому, что его нельзя было увидеть, нельзя вообразить человеку, всю жизнь проведенную на берегу небольшой речки. Но море снилось ей давно. Она всегда на краю, боится зайти в воду, делает шаг в сторону этого опасного дышащего чуда. Во сне она остерегается моря, но сейчас наяву любит его. И правда, море — это счастье, наверно, поэтому к нему ехать так далеко. И все равно она не заходит далеко в воду, плещется у берега, а потом прячется от солнца под тентом.*

Вернувшись в Питер, она заболела какой-то странной болезнью — внезапно она разучилась

читать. Она по-прежнему открывала книгу, пробегала взглядом по строкам, но слова не складывались в предложения, их смысл ускользал от нее. Это было страшно, словно она ослепла и оглохла, заточена в тюрьме тела пожизненно, без всякой надежды вырваться на свободу хотя бы во сне.

Она перевелась с очного отделения на заочное, стала жить напряженно-настороженно, как одинокие люди, для которых жизнь не замкнута в железные ободья привычки, долга, будничной рутины. Постепенно память возвращалась к ней, и она совершала короткие путешествия в чужие сны, как в детстве, когда жизнь была ожидаемым праздником, полным красок, звуков, подарков.

*Ей приснилось, что все книги куда-то исчезли, осталась одна-единственная, и она держит ее в руках. Очевидно, это была библиотечная книга, кусок картона заменял переплет, на котором забыли написать название; страницы пожелтели, пропахли дымом, а некоторые оказались склеенными. Она увидела слово Пушкин на форзаце, текст был без иллюстраций и разбит на главы, конечно, это еще один роман, но разве Пушкин писал романы? Сам текст оказался неуловимым: возможно было рассмотреть строки, но вычленишь какое-то слово никак не удавалось. Впервые перед ней была книга, которую нельзя прочитать.*

*Раньше ей встречались трудные книги, требовавшие специального усилия, чтобы их понять. Но эта напоминала зеркало, которое почему-то ничего не отражало и все же не переставало быть зеркалом.*

*Ее охватило отчаяние — может быть, остальные книги были комментариями к этой книге, и сейчас, без необходимых пояснений, книга оставалась закрытой навсегда. Значило ли это, что и жизнь больше невозможно истолковать? Тогда кто же она и к чему ей стремиться?*

*Она проснулась в страхе, но реальность была по-прежнему неизменной: открытый справочник на прикроватной тумбочке, стопка непрочитанных библиотечных книг на полу.*

Питерская жизнь волновала ее, как прежде, даря надежду на что-то радостное, обещанное

когда-то книгами. Она не могла надышаться холодным питерским воздухом, боясь думать, что все это: новые друзья, книги, разговоры, свобода — может внезапно исчезнуть.

Распределение было в Поволжье и на Север. Поколебавшись, она выбрала городок, самый близкий к Питеру. Она хотела быть уверенной, что очень скоро вернется обратно. Не только она была одержима мечтой вернуться в Питер. Влад, поразивший ее многими качествами: феноменальной памятью, злым умом и непрактичностью (слабая копия Арона), сейчас неожиданно проявлял чудеса изобретательности, чтобы получить прописку в Ленинграде.

Она ехала в маленький северный город со страхом: что за жизнь была уготована ей здесь. Город был тихий, вежливый, и люди радушны и немногословны. Ее поселили в общежитии, в комнате, кишевшей клопами. Окна выходили на глухую улочку, почти неживую. Ей страшно было представить, что она останется здесь навсегда. Но жизнь двигалась дальше, по-прежнему незнакомая и все же бесконечно повторяющаяся, круг за кругом, все больше заворачивая ее в одиночество. Она опять стала искать здесь свой Питер и ждать. Сейчас она ждала известий от Влада, ждала квартиру, ждала ребенка. А появилась Тамара. Другой бы назвал ее появление невероятным, выдуманым, но тот, кто пишет судьбу, не всегда придумывает новые ходы, напротив, не утруждая себя, пользуется старыми приемами.

— Вот так встреча! — закричала Тамара. — Да я знала, что ты приезжаешь, но думала, что весной. Все равно бы мы встретились.

Она улыбнулась: что-то было неизменным в этой жизни. Тамара все та же, с яркими губами, громким смехом, с новым мужем, новым ребенком. Все так же путающая все на свете: единственный человек, которого она знала, так и не запомнивший, когда произошла Октябрьская революция. И все же ненадежность Тамары была надежной.

А сейчас она хотела надежности: своего угла, со столом и кроватью, своими ложками и вилками. Может быть, когда-нибудь ей удастся купить занавески. Надежность выстраивалась мелкими фрагментами, как куски мозаики.

Если у нее будет дочь, она назовет ее Региной. Ее дочь сделает то, что не удалось ей: она будет жить среди умных тонких людей, ее мир будет широк и свободен.

Влад не приезжал, а дочь появилась в положенный срок и сразу же разрушила ее жизнь, перепутав день с ночью. И она стала учиться жить по ночам, изучать тишину, подлаживаться под сонные ночные ритмы. Они уже переехали в маленькую квартиру, пустую, без мебели, где тишина была особенно гулкой. Дом стоял недалеко от железной дороги, и незнакомые голоса на станции перекликались, сообщая о жизни, протекающей мимо, вечно обещающей и вечно зовущей. И, как в детстве, она прислушивалась, как приближается дальний поезд, и вновь пропадает в ночи, и тишина смыкается над тобою, и одиночество так явно проступает в этой тишине, что больше нет сомнений: жизнь и есть одиночество и труд без отдыха и награды. Но, может быть, что-то еще, о чем толковали книги, но так и не могли назвать, а только будили беспокойство. И недосказанность, непоясненность и была ответом, который всегда ускользает, хотя так очевиден.

Она знала его, когда бежала из библиотеки с новым томом чьих-то сновидений, и знает сейчас, когда слушает ночь, и жизнь то снится ей, то проступает отчетливо, как изображение на переводной картинке, столь простая и понятная, что ничего и не нужно, чтобы быть счастливой, а только жить час за часом. И дальние гудки поездов, доносящиеся из полусна, подтверждали, что дорога бесконечна, и даже скрытая в ночи, в тумане будущего, она бежит к лишь известной ей цели, не останавливаясь, дальше, к этому дню, другим неизвестным дням.

#### 4. *Светлана Ивановна*

Светлана Ивановна встречает меня пирогом, дешевым вином из бумажного пакета, потом достает жирный кусок баранины, оставленный для мужа.

— Знаешь, мама к нам переехала, — говорит она горестно, глядя, как я ем с неприличной жадностью, как всякий человек с дороги. А я человек с дороги. Я запоминаю все, что увижу, и

двигаюсь дальше, потому что знаю: я всегда могу вернуться домой, где меня ждут.

Я благодарна за кров и еду, а Светлана Ивановна — за разговор.

Светлана Ивановна сидит в мягком кресле напротив, у нее ухоженное тело зрелой женщины, печальные глаза и красивые ноги. Я знаю, что людям нравятся женщины с красивыми ногами. Светлана Ивановна нравится мне, я слушаю ее почти с нежностью, и жирное мясо и кислое вино кажутся мне необычайно вкусными.

— Мама переехала к нам вот уже полгода, и каждый день на нервах, — горячо говорит Светлана Ивановна. — Я даже слегла из-за нее. Ведь ее ни на минуту невозможно оставить, я говорю ей: «Мама, у тебя же есть комната, телевизор, отдыхай», а она то на кухне, то в ванной что-то делает, и я ничего не могу найти после нее, а если найду — все испачканное или разбитое, а газ она через раз забудет выключить.

Я мало знаю о старости. Что это: неизлечимая болезнь? неотвратимо надвигающееся безумие? неизбежное, больше не скрываемое разрушение тела? На самом деле я не хочу ничего знать о старости, словно она заразна, словно я могу ее избежать.

— Может быть, это склероз? — осторожно спрашиваю я.

— Конечно, нет, у мамы великолепная память, и она очень любит поговорить о том, что прочитала или услышала в новостях. О, она столько расскажет, только начни слушать.

Мои руки начинают дрожать. Я ощущаю горький вкус во рту.

— А вчера, — продолжает Светлана Ивановна, — мама ведь Стаса чуть не убила. Он стоял на стремянке, а она проходила мимо, ты знаешь, она целыми днями бродит по квартире, а тут ее пошатнуло, и она вцепилась в стремянку; еще секунда — и Стас бы разбился, и мама бы покалечилась. Я еле удержала их обоих. Как у меня сил хватило, сама не представляю. У мамы больное сердце, а она не хочет лежать, капризная, как ребенок, за ней нужен глаз да глаз, а чуть что — обижается. Я думаю, не дай бог дожить до таких лет. Я вот Тане всегда говорю: «Стану старой — гони меня».

Я пытаюсь вообразить собственную старость.

Все детские воспоминания со мной, и я живу день за днем, как и раньше, по-прежнему пробуждаясь с каждой весной, а кругом говорят: «Время ушло», и нежно-заботливо отодвигают меня в самый угол. Оттуда я могу наблюдать за их жизнью, за их отчаянной погоней за счастьем, потому что сама я давно никуда не бегу. В моем углу ничего не происходит, и счастье столь неопределенно, что кажется: его здесь нет или, напротив, оно тут каждую минуту. Предполагается, что в своем углу я готовлюсь встретить смерть. В их жизни — это тема для трагедий, в моем углу — повседневность. Я сижу в углу среди детских воспоминаний и наблюдаю, как разрушается мое тело. В полном одиночестве я готовлюсь встретить смерть.

— А как твоя мама? — спохватывается Светлана Ивановна и, не слушая ответа, продолжает: — А я сколько помню свою, она всегда была мной недовольна, все ей не так: и работа не та, и муж не тот, и ребенка не так воспитываем. Ведь она за всю жизнь Стасу слова доброго не сказала, все молчком, молчком, а я знаю, что не нравится он ей. А сколько он старался: и квартиру ремонтировал, и всегда, если нужно, ее подвозил, и подарки к дню рождения, а она все принимала как должное, вечно осуждала. Все должно быть по ее, а если не так — обидится, замолчит. И все время говорит мне: «Я старая». Уже лет тридцать говорит: «Что ты хочешь, я старая», а только последний год ей стало хуже, а так у нее сил — больше, чем у нас всех, у меня давление постоянно скачет, я кручусь как белка в колесе, думаешь, она мне когда-нибудь посочувствует?

— Ты ешь, — спохватывается Светлана Ивановна, подливает вина из пакета, и я вижу, что ее пальцы слегка дрожат. Разговор приносит ей облегчение, и она не может остановиться. Я запиваю горечь вином. Я думаю, как трудно заслужить материнскую любовь, она безусловна и требовательна, как всякая любовь, взывающая, молящая: «Люби меня, люби».

— Или вот сегодня, например, я говорю: «Мама, не надо складывать спитой чай в шкаф, от него только грязь», а она как всегда молчит, но с таким видом, что лучше бы кричала, — Светлана Ивановна волнуется, сжимает пальцы. — Ты представляешь, слова не сказала за весь вечер. И я эту грязь выбросить бо-



юсь, вдруг станет еще хуже. Ты думаешь, какой пустяк, стоит ли из-за этого ссориться, но жизнь состоит из таких вот пустяков, они накапливаются, накапливаются, и кажется, сил больше нет, нервы на пределе. Жить со стариками — не дай бог, я знаю, что пожалею об этих словах, уже сейчас жалею, но не дай бог.

Наполнена ли любовь к матери чувством вины или чувство вины и есть любовь? Как удержаться между вечным «отпусти меня» и таким же вечным «не покидай»? Мама, дай мне пожить без страха за тебя, свободно, глупо, мама, оставь меня, но только не уходи.

— Как Таня? — спрашиваю я о дочери Светланы Ивановны. Мне хочется говорить о понятном.

— Таня часто звонит, — лицо Светланы Ивановны светлеет, она говорит со сдержанной радостью, — ей там нравится, и университет, и сам город. Вот на Рождество поехала к друзьям в Денвер, столько впечатлений! Я ей говорю в шутку: «Смотри, забудешь нас, все в делах да друзьях, приехать некогда». Ты знаешь, я так рада за нее, у нас здесь все хуже и хуже, работы для молодых нет, пусть уж там живет по-человечески.

В комнате тихо, очень тихо, трудно поверить, что за тонкой стенкой, совсем рядом — старая женщина. Я пытаюсь представить ее:

сидит в кресле с книгой или дремлет, закрыв глаза, как моя мама.

— Стас уехал сегодня в командировку, так что мы вдвоем, — Светлана Ивановна будто читает мои мысли. — Слава богу, мама рано ложится спать.

Мне пора идти, за окном глухой декабрь, в зимней темноте люди двигаются от дома к дому почти на ощупь. Кажется, каменные здания со светящимися окнами надежно защищают от холода и тоски, но тоска незаметно просачивается в теплые дома с электрическим светом. О, это молчание в квартирах, о, эти безутешные разговоры: мама, мама, зачем я здесь, зачем эта любовь, мама, это страдание?

Я долго одеваюсь в прихожей, натягиваю свитер, повязываю шарф, готовлюсь к морозу и ветру. Светлана Ивановна стоит рядом, не переставая говорит, ее лицо светло от разговора: все несчастья дочерней любви она раскрывает передо мной, как сообщнице. И я, если бы могла, открыла ей свой темный список обид, страхов, бесконечной вины. Но мне незачем говорить, я выйду за порог, глухое одиночество встретит меня. Я знаю: слова не утешают, и ночь за окном зовет к себе.

□

***Ирина Вильевна ЛЬВОВА*** —

*доктор филологических наук,*

*профессор кафедры*

*германской филологии ПетрГУ.*

*Прозаик.*

*Автор книг «Рассказы»*

*(2001 г., совм. с Т. Мешко),*

*«Если бы нас спросили» (2003),*

*«Вариации» (2009),*

*«Случайные гости» (2011).*

*Публиковалась в журналах*

*«Carelia», «Север», «Аврора» и др.*

*Член Союза писателей России.*

